



Андрей ФРОЛОВ

Фролов Андрей Владимирович родился в 1965 году в Орле. Автор семи книг стихотворений и сборника рассказов. Произведения публиковались во многих российских литературных журналах, вошли в антологию «Русская поэзия XXI век» и антологию современной литературы «Наше время». Лауреат ряда всероссийских литературных премий и конкурсов. Член Союза писателей России. Живёт в Орле.

РОДНОЕ

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

Мама сегодня приготовила лапшу. Она называет её «свойской». В тарелке аппетитно топорщатся куриные крылышки, желтоватый прозрачный бульон духовит, в кружочках жира, как в спасательных кругах, плавают листики петрушки. А запах!..

Я часто обедаю у родителей, потому что работаю в двенадцати минутах езды на трамвае от их дома. Работа у меня не то чтобы суматошная, но непредсказуемая, и приезжать на обед к родителям каждый день не получается. Мама беспокоится, даже обижается, когда я не появляюсь несколько дней.

Мы сидим на кухне у большого окна. Мама, привалившись спиной к беспокойно журчащему АГВ, смотрит, как я ем, и с тревогой спрашивает:

— Вкусная лапшичка?

Тут надо обязательно похвалить её стряпню. Впрочем, кривить душой не приходится — угощение у мамы всегда на высоте.

В доме тихо и тепло. Сулицы носом в стекло тычется дворový пёс Мишка. Рыжая мордашка с умными глазами приветливо-про-

сительна. Мама, улыбаясь, грозит ему пальцем. Это самое страшное наказание для пса. Он хмурится, спрыгивает с завалинки и, поджав мохнатый хвост, трусит в свою конуру.

Мишка — пёс чрезвычайно обидчивый. Когда, ещё в подростковом возрасте, его пытались посадить на цепь, щенок просто обиделся на весь мир. Недельку он отвергал самую вкусную еду и отказывался от любого общения. Отец, выдерживая характер, нипочём не хотел возвращать ему свободу. И только после того, как в гости к бабушке с дедушкой пришла моя дочка и со слезами в глазах заявила: «Вы лишаете ребёнка детства!», Мишка был амнистирован и освобождён уже пожизненно.

Отец лежит на диване в комнате напротив кухни. Послеобеденный отдых с кроссвордом у него называется на детсадовский манер — «тихий час».

Отец у меня большой придумщик. Неинтересно ему жить, что-то делать, как все. К любой работе он подходит творчески, но не усложняя её всякими ненужными измыслами,





а рационально упрощая, механизирова процесс. Всю жизнь отец работал слесарем и, мне кажется, умеет всё. Когда пришла пора выходить на пенсию, то писать копию его трудовой книжки посадили меня — почерк, дескать, красивше. Как я был горд, аккуратно перенося на тетрадный лист сведения о поощрениях: за рационализаторское предложение, за изобретение, за внедрение!.. И опять, и снова. Венчалось всё это медалью «За доблестный труд». В трудовой книжке имелось несколько многостраничных вкладышей — вместить все отцовские достижения она просто не могла. Покажите мне ещё слесаря с такой трудовой книжкой!

Мама всё беспокоится:

— Крутовато я лапшу замесила — не смогла раскатать как следует...

Отец, не отрываясь от кроссворда, то ли в шутку, то ли всерьёз говорит:

— Всё тебя учить. Между двух досок тесто своё положи — и на дорогу. Раскатают в папирус.

— Это только ты у нас такой умный, — обиженно произносит мама и вдруг оживает:

— Ой, сынок, чего дед-то недавно учудил. Вроде, во дворе всё топтался, а потом, смотрю — нету. Подождала-подождала и за калитку вышла. Стоит. На той стороне улицы. Высматривает. Увидел что-то вдали, засуетился. Железяку какую-то из кустов вытаскивает и на дорогу — бряк! А там машина идёт. Шофёр-то, наверно, видел — затормозил и железяку объехал. Дед ему вслед плюнул, а конструкцию свою опять в кусты пристроил. Снова машина, и опять он под неё «бомбу» подкладывает. Ну дед! Прямо диверсант. Я стою, боюсь, его бить начнут...

— Да что ты хоть, мать, — отец откладывает кроссворд. — Лист оцинкованный распрямить надо было...

— Потом-то я поняла. И шофёр — наверно, только четвертый — тоже понял, что от него требуется. Аж два раза проехал, я видела. А первые трое сколько страху натерпелись?

— Да ладно... — вяло говорит отец. — Что-то засыпаю, пойду проветрюсь.

— Иди, иди. Не подорви никого, — ехидничает мама и уже вдогонку кричит: — Оденься потеплей!

Отец, нахлобучив шапку, но, несмотря на ноябрь, в довольно лёгкой куртке, опираясь на палку, уже выходит за калитку.

— Ох, уж этот дед... — беззлобно ворчит мама.

Отец любит прогуляться по родной Грузовой улице: ходит, смотрит, встретит кого-нибудь — поговорит, поможет. Его здесь все знают. Бывает, позвонится незнакомый мужик, спросит: «А Володя (это он отца) дома? Вы скажите ему, что Николай заходил. Я за грибами еду — если наберу, то и вам принесу». Видя мамино недоумение, добавит: «Он мне кастрюлю запааял. А ещё ведро починить надо». В таком вот духе.

Пора, однако, и мне. Я уже допиваю чай с яблочным пирогом, лезу в карман за папирусами.

Мама, скорее по привычке, не надеясь уже, говорит:

— Бросай, сынок, курить...

— Брошу, ма, — отводя глаза, вру я. — Обязательно.

Провожая меня до двери, мама заглядывает в глаза и спрашивает:

— Завтра придёшь? Я плов приготовлю.

Мама забыла, что завтра суббота — у меня выходной день, а значит, и обеденного перерыва не будет. Но она-то знает: не только вкусная еда влечёт меня в этот дом. Я тоже отсюда родом.



«МУСОРНЫЙ ДЕНЬ»

Что такое «мусорный день»? «Мусорный день» — это почти как праздник. Во всяком случае, так его ждут. А случается он раз в неделю — у нас это воскресенье. Именно в этот день по улице сверху вниз неторопливо, с длинными остановками, проезжает мусоровоз. Давно уже кем-то определены конкретные места, где грохочущая и дребезжащая машина останавливается, водитель как бы нехотя выкарабкивается из кабины, с глубокомысленным видом манипулирует рычагами сбоку кузова, и огромная шарнирная рука ставит на землю мусорный контейнер. А народ уже давно собран, организован и сплочен. Впрочем, по порядку.

Мусоровоз проводит тотальную чистку улицы примерно с часу до трёх дня. Но ещё до полудня над нашей дверью визгливо кричит звонок: в калитку, боясь собаки, которой давно нет, просовывается соседка тётя Надя и торжественно возвещает:

— Сегодня — мусор!

Об этом никто не забывал, но соседку всё равно благодарят за хорошую весть. Ещё полчаса спустя отец начинает собираться.

— Пойду, — говорит, — на пост.

Мама возмущается:

— Куда ты? Только половина первого. Тебе что, до поста полчаса идти что ли?

Но это нужно понимать, этого события целую неделю ждала вся улица, на которой сегодня необычайнолюдно. Не удаляясь от своих калиток, прохаживаются разно одетые обыватели. Кое-кто уже вынес и поставил — пока на этой стороне улицы — пластиковые ведра, оцинкованные выварки, полиэтиленовые пакеты с мусором. Все поочередно подходят к проезжей части и напряжённо всма-

триваются вдаль. Народ пока разогревается общением с непосредственными соседями.

Другой наш сосед, Борис, выходит как всегда в сопровождении собачонки — сегодня это чёрно-белая Муха, значит, Жучка была в прошлый раз. Борис озабоченно спрашивает:

— Будет сегодня, не знаешь?

Отец не знает, но говорит, что нужно надеяться. Они начинают лениво обсуждать различные бытовые надобности. Муха, не очень-то обращая внимание на пристающего уличного кобеля, живо интересуется содержимым чужих мусорных ведёрок.

Ближе к часу народ, прихватив свои ёмкости с мусором, начинает перетекать на другую сторону улицы, к месту остановки мусоровоза.

Вот тут-то и разворачивается действие, ради которого, собственно, все и собрались, — живое общение по полной программе. Кумушки, в обычные дни не имеющие причин встретиться для обсуждения свежеспеченных новостей, собираются в небольшие группки и буквально рвут эти самые новости друг у друга изо рта. Хвастаются зятьями, прикупившими автомобили, шубы их дочкам, хрустальные люстры и кухонные комбайны. Проклинают зятьёв пьющих и нерадивых. Осуждают беспутную Нинку, заведшую «нового хахалю», и Верку-дуру, от которой сбежал «мужик-золото».

— Петрович, выпьешь? — это мужики уже расположились на крылечке одного из домов поблизости. Здесь беседы ведутся традиционно о «правильной политике президента», о том, что «шуку лучше брать в половодье, по мутной воде», о том, что «Спартак» вче-





ра облажался не по-детски». По кругу ходит одинокий стакан, зато закуска припасена у каждого.

Притащилась, тяжело опираясь на клюку, древняя бабка из углового дома. В пластмассовом ведре погромыхивает коробка из-под кефира. Подошла к очередному вперед — смотрящему, прошамкала беззубым ртом:

— Не видать, сынок?

Получив отрицательный ответ, поудобней упёрлась хилой грудью в свою клюшку и занула этакой треногой.

Подтянулась и ребятня, которой нет дела до собственно мусора, но раз уж собрался народ, стало быть, будет весело. Гомонят, «салки» затеяли.

Настроение праздничное, сравнимое разве только с атмосферой майских демонстраций прошлых времён, когда люди вот также выходили из домов утром и, прежде чем отправиться по своим конторам и построиться в колонны, кучковались на родной улице, выпивали, шутили — общались, словом.

— Едет!!! — сверху вниз прокатилось по улице.

На секунду, вздрогнув, приостановилась ребятня, подобралась и теснее сплотили ряды взрослые. Действительно, в конце улицы, круто уходящей вверх, к вокзалу, оказался трудно ещё различимый, но безошибочно узнаваемый мусоровоз.

Убедившись в неотвратимой близости апогея праздника, граждане возобновили разговоры, которые сделались более оживлёнными. Мальчишки с новой силой продолжили беготню и чуть не сшибли старушку, повисшую на клюке. Ведро с грохотом покатилося по асфальту проезжей части, потеряв на ходу кефирную коробку.

— А ну, цыть! — неожиданно громко и грозно крикнула проснувшаяся бабка и, буд-

то спохватившись, едва слышно проскрипела, неизвестно к кому обращаясь: — Не видать, сынок?

Ведро тут же вернули, сунув туда одинокую коробку.

— Видать, бабка, видать, — за всех ответил Николай из дома, что напротив нашего. — Уже на Индустриальном стоит.

Следующее после Индустриального перелука место остановки мусоровоза — наше. Тут уже из калиток начинают выглядывать те, кто до сих пор отсиживался дома. Это, которые или не в ладах с улицей, или молодые домохозяйки, коим с общественностью поделиться ещё нечем.

И вот мусоровоз скрипит тормозами и тяжело отдувается — прибыл! Контейнер установлен на землю и готов к заполнению. Но...

— Стоять! — громко командует водитель, закрывая грудью мусоровместилище.

Люди с уже занесёнными для броски ведрами и пакетами удивлённо замирают. Только старушка с клюкой, наверно, по причине глухоты деловито ковыляет к контейнеру и вываливает туда свою пресловутую картонку. Завершив ритуал, она не спешит уходить домой, а отходит в сторонку и снова повисает на клюке.

— Предупреждаю, — инквизиторским голосом заявляет водитель. — В следующий раз мусор буду принимать только по предъявлению квитанции. Небось, половина из вас не платит.

— Как не плотит?! Кто не плотит?! — возбуждённо шумит народ. — Все плотют!

Люди с мусором напирают, машут руками и брызжут слюной. Интересно, как это «в следующий раз» этот бюрократ собирается защитить контейнер от справедливо возмущённых обывателей, для которых жизненно



важно расстаться с накопленными за неделю отходами? Наверно, и сам водитель задался этим вопросом, а может, вспомнил, что для народа он — всего лишь мусорщик, потому что обречённо махнул рукой и отправился в кабину выкурить очередную сигарету.

Началось! Воздух, отяжелевший с прибытием мусоровоза, загустел окончательно от мелькающих пакетов и ведёрок, криков «Посторонись!» и волнами распространяющегося от контейнера амбре. Кто-то в суматохе наступил на Муху. Её отчаянный визг послужил сигналом для начала следующего этапа мусоросдачи.

Нестройно захлопали калитки, из них рванули через трамвайные пути с ведрами те, какие не общительные: и бегут-то неуклюже, как-то бочком, суетливо — не наши люди. Молодые хозяйки семенят, стесняясь домашних халатов, которые они одной, свободной, рукой пытаются запахивать на груди и удерживать от распахивания внизу. Получается плохо, дамочки краснеют и готовы провалиться сквозь землю вместе с ведрами.

Трамвайное движение временно остановлено. Вагоновожатый понимает, что стихию не остановить, и даже не пытается нажимать на кнопку звонка — привык. Минимум десять минут трамвай будет стоять, пережидая, пока людской поток, катящийся через рельсы в обоих направлениях, станет жиже.

Контейнер наполняется быстро, граждане сноровисто бегают за новыми партиями отходов, торопясь выбросить всё, что можно. Те, что поопытней, вышли семьями и за одну ходку вынесли, кажется, чуть ли не весь имеющийся у них скарб.

Издалека, сгибаясь под тяжестью полиэтиленового мешка, приплёлся дядя Роман — ему ближе на Индустриальный, но весь мусор сплавить там он не успел.

— Роман, по всей улице собирал? — шутит кто-то.

Водитель уже трижды дергал рычаги, и шарнирная рука размашисто опрокидывала контейнер во чрево мусоровоза. Опыт подсказывает, что четвёртого раза не будет — впереди ещё почти полулицы. Суматоха постепенно гаснет.

— Больше не принимаю! — кричит водитель, вскакивая на подножку. — Учтите, в следующий раз...

Не закончив, он снова досадливо машет рукой, прыгает в кабину и зло рвёт машину с места.

Всё. А народ не расходится. Исчезает лишь суетливое возбуждение, на смену которому приходит благодное удовлетворение: большое дело сделали — надо бы sprыснуть по-настоящему. Что мужики и намерены осуществить, собираясь неподалёку, в теничке под липами. Потом кто-то принесёт низкий столик, достанут домино и будут, сдержанно матерясь, стучать костяшками уже дотемна. Женщины тоже не уходят, продолжая делиться впечатлениями о своей и чужой, да вообще — о жизни, в целом нелёгкой, но всё же дарующей редкие радости и оставляющей надежду на будущее, хотя бы в виде чумазых ребятишек, весело скачущих по уютным тротуарам родной улицы.

Заканчивается воскресный день. Заканчивается праздник, не быть которого просто не могло — ведь «все плотют».





ВСПЫШКИ ПАМЯТИ

Обрывки воспоминаний, путаясь и натываясь друг на друга, роятся в усталом мозгу. Все они приблизительно одной поры, но никак не хотят рисоваться чётче, становиться в стройный событийный ряд. Память бессильна. И всесильна, если яркими вспышками всё же высвечивает эти давние мгновения жизни...

* * *

Душный, добела раскалённый июль. Бабушка в сарае варит варенье. Вишнёвое, моё любимое. Сарай приспособлен под летнюю кухню, и дышать в нём сейчас нечем — потрескивая, гудит керогаз, в эмалированном тазу ворчит и хлюпает варенье, одурело, неповоротливыми бомбовозами над тазом кружат осы.

Мне восемь лет. Я торчу на высоком пороге сарая, глядя, как бабушка снимает с варенья рыхлые розовые пенки и собирает их в гранёный стакан. На голове её цветастый платок — я не помню бабушку простоволосой, как не помню и без папиросы во рту или в руке; лоб орошён крупной испариной, на кончике длинного носа, норовя сорваться вниз, блестит большая капля.

Густой аромат варенья смешивается с запахом свежепиленной древесины: вдоль задней стены сарая, на высоту моего роста — поленница. Её вчера сложил я. Отец с одним из дядьёв, маминым братом, пилил во дворе сосновые брёвна, а потом ловко колот чурки большим топором. К зиме поленница будет под самую крышу и в несколько рядов.

На притолоке, прямо над моей головой, горит в солнечном луче рубиновая звёздочка с армейской фуражки. Звезда аккуратно

закреплена в деревянный брус маленькими гвоздиками и светится здесь всегда. Чья она? Отца или одного из многочисленных моих дядек? Решаю вечером непременно прояснить вопрос. И, конечно, забываю.

Бабушка рукой отгоняет настырных ос, снимает таз с огня и, уперев его краем в тощую грудь, несколько раз встряхивает. Варенье кругообразно болтается в тазу, проскальзывая по самому краю, но не выплёскиваясь, и снова начинает покрхтывать на керогазном огне. Бабушка отступает на шаг и раскуривает погасшую папиросу — должно быть, потушила её та самая капля, сорвавшись с бабушкиного носа.

— Бауш, дай пеночек, — прошу я.

— Сдурел? Осы там.

И, пока я, приподнявшись на цыпочки, разглядываю вяло барахтающихся в стакане насекомых, бабушка рассказывает страшную историю про то, как её знакомую осу, проглоченная вместе с вареньем, ужалила в горло, и та задохнулась в одночасье. Бабушка заканчивает:

— Вот я их повылавляю, тогда дам...

* * *

У меня, как, наверное, у всех, было две бабушки. Жили они почти напротив друг друга, и обеих звали Олями. Чтобы не путаться, мы с сестрой и наши родители, а потом уже и все остальные, никогда не называли бабушек по имени — так и говорили: «бабушка Петровна» (это мама нашей мамы), или «бабушка Гавриловна» (мама нашего папы). За мной больше присматривала и воспитывала меня Гавриловна, в доме которой и жила наша семья; сестру же — она старше на два



с половиной года — отдали на догляд и воспитание Петровне, и почти весь длинный летний день сестра проводила в доме напротив, через трамвайную дорогу...

Гавриловна строга, спуску мне не даёт. Она находит меня в самых потаённых уголках нашей улицы и даже в соседнем заросшем пыльными кустами грязном, помойном рву, по дну которого зловонно струится ручей со смешным названием Ленивец. Бабушка тихо подходит и, взяв за руку, выдёргивает меня из компании сверстников, готовящихся форсировать Ленивец по наведённой собственоручно переправе. И ведёт обедать.

Жарко, и есть хочется только огурцы, но у Гавриловны свои представления о питании ребёнка, и она заставляет меня съесть щи, а потом ещё и картошку, тогда как сама всегда только пьёт чай с булкой.

Отец называет Гавриловну на «вы» — наверное, он тоже её побаивается...

* * *

Морозящее осеннее утро. В школу нам с сестрой идти во вторую смену, потому сидим за столом, покрытым зелёной плюшевой скатертью, которая поверху, для страховки, застелена газетой, и скучно завтракаем. Бабушка Гавриловна дала нам манную кашу, положив в тарелки по хорошему куску масла, и ушла по своим делам в другую комнату. Стол стоит у окна, вид из которого... В общем, смотреть особо не на что: потемневшая от дождя бревенчатая стена соседского дома, украшенная наискось глубоким шрамом от снарядного осколка военной поры.

Мы не любим манную кашу! И об этом знает весь мир, кроме бабушки Гавриловны. Проходя за нашими спинами, она загляды-

вает к нам в тарелки и возмущается, найдя их полными:

— Да вы что, совсем дохлыми хотите быть? Ну-ка, ешьте быстро! — и горестно добавляет: — Ох, завербуюсь я от вас...

Что такое «завербоваться», мы не знаем, но слово, скорей всего, страшное, потому что бабушка так говорит всегда, когда нами недовольна. Кстати, непонятно, почему «совсем дохлыми»? Я — мальчик вполне упитанный, сестру тоже худышкой не назовёшь. Вот сама Гавриловна худовата...

Бабушка возвращается с банкой вишневого варенья, говорит, ставя её на стол:

— Может, теперь дело шибче пойдёт. Кладите в кашу...

Варенье мы охотно съели бы отдельно, но делать нечего, — добавляем по большой ложке в кашу. Еда в наших тарелках сразу делается мистически лиловой, с чёрными бугорками вишен. Аппетита это не прибавляет, и мы находим себе развлечение: выковыриваем из загустевшей каши ягоды и, съедая сморщенную мякоть, плюём косточки на стол. Маслёнка у нас — школа, а банка с вареньем, стоящая поодаль, — многоквартирный дом, из которого идут в школу ученики-косточки. Плюнуть надо метко, чтобы косточка застряла на пути из «дома» в «школу». У меня получается лучше.

— Смотри, смотри! — восторженно кричу, видя, что косточка, выплюнутая сестрой, улетела дальше положенного. — Твой опять прогулять собрался! В кино, наверное, пошёл!..

Снова призраком возникая сзади, Гавриловна выдаёт нам по подзатыльнику. Мера действует куда лучше уговоров, и завтрак заканчивается скоро...





* * *

Зима. Со двора не выпускают, чтобы не извалялся в снегу, катаясь с крутых склонов помойного рва. Как будто я не изваляюсь во дворе, где тоже полным-полно привлекательных сугробов!

За какой-то надобностью забредаю в сарай и нахожу на старом сундуке топор. Его лезвие почему-то перемазано жёлтым крупчатым мёдом. Интересно, что это значит? Или мёд так замёрз, что его пришлось рубить топором? Трепетно принохиваюсь — действительно, мёд! Удержаться и не лизнуть нет сил. Мёд тает на тёплом языке, чудесным нектаром проскальзывает в горло... А язык остаётся на промёрзшей до звона железке. Конечно, я ору. Мне больно, мне страшно, мне хочется пожаловаться маме, что подлый топор схватил меня за язык, впился в него зубами и не хочет отпускать. Но хорошо у меня получается только диковатое, отрывистое мычание.

Дома топор, а заодно и мой язык, отливают тёплой водой, освобождая их друг от друга, но ещё несколько дней я не могу нормально кушать...

Этот подвиг членовредительства я повторю через три года. Мы, четвероклашки, вдвоём с приятелем будем возвращаться из школы узкими дворами пятиэтажных домов, где стоят этакие железные штуки в виде буквы «П», вкопанной в землю, — они предназначены для сушки белья, но очень неплохо могут служить футбольными воротами или вместо волейбольной сетки. Приятель зачем-то предложит мне лизнуть одну из железных стоек, и я, дурак, уже имеющий горький опыт таких контактов, послушаюсь его... Домой, отливаться водой, с громоздкой каркасиной на языке не побежишь...

Кстати, о мёде. Ещё через два года, с тем же приятелем, опять же после уроков, мы забрели в гости к третьему нашему товарищу и втроём — не скажу, что времена тогда были очень уж сытные, — слопали трёхлитровую банку великолепно засахарившегося мёда. Не буду рассказывать, как мне было нехорошо, но больше мёда я не ел никогда в жизни...

* * *

Снова лето. Марево над просёлком причудливо клубится и завивается — кажется, вот-вот из горячих сгустков проявится сказочный джин и громовым голосом станет вещать что-нибудь про исполнение моих желаний. Мы всей семьёй идём в лес, называющийся непонятно и даже страшновато — Андриабуж...

Мы приехали на дряхленьком автобусе. Я сидел на переднем сиденье — получалось, только мы с шофёром смотрим вперёд через лобовое стекло. Я представлял, что мчусь на мотоцикле: крутил рукой поручень, добавляя газу; вдавливал ногами в пол воображаемые педали, притормаживая; наклонялся в сторону на поворотах, удерживая равновесие своего стального коня.

Рядом с отрешённым лицом сидела бабушка Гавриловна. Вдруг она почему-то засуетилась, встала и шагнула к водительской кабине. Автобус тряхнуло, и бабушка нелепо, не выпуская из рук маленький алюминиевый бидончик с молоком, упала...

И вот мы шагаем пыльной дорогой к лесу. Вернее, шагают впереди отец с мамой, несущие сумки с едой, а мы с сестрой плетёмся следом. Гавриловна замыкает процессию.

Может быть, даже наверняка, с нами идёт кто-то из наших дядей и тётей, но память не



пускает меня глубже, отказывается рисовать все детали этой картины... Но перед глазами посейчас стоят ярко-белая молочная лужа на затоптанном автобусном полу и бледные, отдающие синевой, худые бабушкины ноги под задравшейся юбкой. Сердце больно сжимается на миг, замирает и снова гулко толкается в рёбра... Ну зачем, зачем она взяла в лес это молоко?..

Лес стоит высоко, подпирая громаду своей кроны берёзовыми, осиновыми, ольховыми стволами. Здесь хорошо — пыль и зной остались на дороге. Мы приехали не за грибами и ягодами, а чтобы просто быть в лесу: сидеть на разостланном под кустом покрывале, хрустеть огурцом и прихлёбывать терпкий квас, слушая монотонный разговор беспокойных листьев и ленивую переключку неведомых птиц, а потом играть на полянке в бадминтон...

Мы с сестрой заблудились. Отошли-то от полянки чуть-чуть и... потерялись. Ходим битый час во все стороны и никак не можем выйти к родителям. Покричать, поаукать не догадываемся или почему-то боимся. Я уже тихонько реву.

— Не плачь, — говорит сестра. — Сейчас пойдём вон за те кусты и найдёмся. Туда мы ещё не ходили... кажется.

А у самой голос испуганный, и в глазах отчаянье.

Выходим за кусты и натыкаемся на нашу стоянку и папу с мамой. Они и не думали беспокоиться — встревожилась и отправилась на поиски одна бабушка. Вскоре и она появляется из чащи, как всегда, молчаливая и не улыбочивая. Впрочем, ругать нас никто не собирается, и мы лежим на покрывале в окружении родных людей, с которыми хорошо и спокойно, и весело болтаем ногами...

В обратный путь по дороге Гавриловна ведёт меня за руку. Я устал, ноги идти не хотят. В автобусе сонно рассказываю бабушке, как мы, когда потерялись, нашли ёжика — он круглый и колючий, но совсем не страшный. Мы не стали его мучить и отпустили домой.

Гавриловна вынимает изо рта потухшую папиросу, смотрит на меня старыми глазами и тихо говорит:

— Оно хорошо, когда по-доброму. Легше так...

